

КЛАРИН Михаил Владимирович
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования,
Москва, Россия.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МНОГОМЕРНОСТЬ

На ранних кубистических портретах изображения прорастают сквозь переплетение объёмов, плоскостей и линий. Не так ли происходит и в наших воспоминаниях? Сейчас память возвращает фрагменты и ракурсы прошлого, я разглядываю фотографии, сожалею, что не фотографировал больше и чаще, и вспоминаю моего научного руководителя Алексея Ивановича Пискунова, грани и измерения этой многомерной личности.

Мы познакомились в 1970 году. Я учился на втором курсе физфака МГПИ им. Ленина. Стены факультета напоминали, что год проходит под знаком 100-летия основоположника советского государства, вождя мирового пролетариата. До сих пор у меня сохранились тогдашние фотографии плакатов и стендов, которые я снимал, иронически отстраняясь от идеологической мишуры. Тексты гуманитарных дисциплин, и без того пестревшие красными нитями идеологической фразеологии, были укреплены усиленными цитатными стежками.

Алексей Иванович и мой отец, Владимир Михайлович Кларин, были коллегами по кафедре педагогики МГПИ. Я знал, что они уважали и ценили друг друга, относились друг другу как *настоящие* профессионалы. В моём восприятии акцент на *профессионализм* означал подлинность, которая противостояла идеологической мишуре, ритуальным цитатам из классиков марксизма-ленинизма и решений последнего партсъезда.

Впитав в себя диссидентский дух своей Второй физико-математической школы, я был настроен на *настоящую* науку и приходил на лекции по всем «неестественным» наукам с отношением высокомерного скепсиса. Впервые я увидел Алексея Ивановича на его лекции по истории педагогики. Солидный, пожилой, лысеющий профессор... (ему было 50, точного возраста я тогда не знал, но было видно, что он «уже пожилой»). Это отношение «студент-профессор» застряло надолго. Оно оживало даже спустя четверть века, когда я приходил показать ему биографическую статью, которую я писал о нём в Российскую педагогическую энциклопедию.¹

Несмотря на уважительное отношение ко всему, чем занимался мой отец, педагогические дисциплины, как и все курсы, где предполагалась идеологическая окраска, вызывали у меня заведомо критическое отношение. В лекциях А. И. чувствовалась глубина, которой не было в других «неестественных» курсах. Это было для меня неожиданно. Тогда я читал с

¹ Кларин М. В. Пискунов Алексей Иванович // Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. /Гл. ред. В.В. Давыдов. М.: «Большая Российская энциклопедия», Т. 2, 1999, с. 150-151.

трудом раздобытую дореволюционную Библию и в коридоре подошёл к нему с оригинальным для того времени вопросом о «малых сих». Он сказал, что не только детей подразумевал Христос, обнаружив знание источника. Помню, как со свойственным мне (и не мне одному) физико-математическим снобизмом я делился впечатлениями, нарочито-пижонски удивляясь: «надо же, — педагог, а такой интеллигентный и образованный человек...» Глубокая эрудиция, *фундаментальность*, — с этим человеческим измерением Алексея Ивановича я потом сталкивался не раз.

А.И. уважал моего отца, ценил его компетентность, профессионализм, порядочность. Было и другое. Между ними существовал непреодолимый зазор: А.И., будучи на два года старше, не воевал, а Владимир Михайлович с первых дней войны пошёл добровольцем в Московское ополчение, потом воевал на фронте до самой Победы. Позже, когда после переезда они с Лидией Ефремовной, стали жить неподалёку и заходить в гости, А.И. проникся уважением к той особой атмосфере тепла и любви, которую он чувствовал в нашем доме. В этом уважении сказывалось ещё одно человеческое измерение А.И. — он видел и ценил всё *настоящее, подлинное* в человеке.

Следующая наша встреча состоялась семь лет спустя. Я преподавал физику в школе рабочей молодёжи и мечтал мечтами моих родителей, а они видели мой путь в будущее через аспирантуру, науку, вузовскую кафедру. Алексей Иванович в это время был директором НИИ общей педагогики Академии педагогических наук. Отец повёз меня к нему как потенциального аспиранта, на смотрины. Мы приехали к А.И. в его новую квартиру у Речного вокзала, где он жил с новой женой. Тема разводов и женитьб А.И. нередко упоминалась в его отсутствие в кулуарных разговорах. Слова «четвертая жена» звучали экзотично, и с тогдашней тягой ко всему оригинальному я испытывал заведомый интерес к человеку, который ещё неизвестным мне в то время способом переходил границы стандартных жизненных рамок.

Солнце светило в окна новой квартиры, которая казалась мне большой. После семилетнего перерыва А.И. для меня не изменился, всё такой же пожилой... (в интернет-тексте на этом месте стояла бы цепочка смайликов). Круглые толстые стёкла очков не давали понять выражение глаз. Голос был одновременно приветливым и строгим. Он предлагал, указывал и требовал. К этой манере речи я не скоро привык.

Но в тот момент главным было другое: он не один! Рядом, близко, вокруг была *Детка, Козлёнок, Лидочка*, — Лидия Ефремовна. Она в тот день не участвовала в беседах, молча входила, приносила печенье, ставила на журнальный столик, уходила. Но то, как он смотрел на *неё*, как звал *её*, по своему обыкновению требовательно, как *она* входила, как смотрела на *него*, присаживалась, бросала на него взгляд, как освещало ее солнце, как *они* снова и снова поглядывали друг на друга... Рядом с ним *она* воспринималась как Жена, гостеприимная хозяйка дома. Она сама была профессионалом, Учёным секретарём своего Института. В его присутствии она добровольно отходила на второй план, но её внутренний масштаб и сила чувствовались без слов. Рядом были две Личности, наконец нашедшие друг друга. Это было ещё одно

человеческое измерение, *измерение любви*, которое я смог понять и оценить лет тридцать спустя, в сопоставимом возрасте и жизненных обстоятельствах.

Благодаря знакомству, я смог предъявить и проявить свои способности, — и тогда, и всегда это называлось «по благу». Я сдал экзамены, с ноября 1977 года был принят в аспирантуру и стал встречаться с А.И. как со своим научным руководителем. Меня нужно было «приписать» к конкретной лаборатории. Чужеземный объект и предмет исследования предполагали, что я должен попасть под крыло специалистов по «критике буржуазных концепций», но А.И. высоко ценил научную подлинность. В педагогических науках научность концентрировалась в сфере дидактики и истории педагогики, — так считал мой отец, так считал Алексей Иванович, так впоследствии считал и я. Моя работа была на стыке этих областей, и моими рецензентами стали высокие профессионалы, — корифеи отечественной дидактики и истории педагогики. Сделанный мной концентрированный анализ англоязычных материалов о преподавании естественных наук привлёк интерес коллег в Лаборатории дидактики, а потом и за её пределами. Впоследствии именно с этой Лаборатории в 1980-м началась моя работа в Институте, — и за это я благодарен Алексею Ивановичу.

Ключевой ценностью для А.И. была компетентность. К её отсутствию он относился с заметной досадой и негодованием. Нередкую для гуманитарных наук того времени надуманность он подмечал и отвергал; если исследовательский тезис подменялся идеологической оценкой, от него можно было услышать: «А вот это уже от лукавого». Его ученики проходили школу дисциплины мысли. Внутреннюю дисциплину он уважал, требовательно ожидал от других. Это было *измерение профессионализма*.

Приходя к А.И., я испытывал трепет Ученика Чародея. С моей семейной и аспирантской родословной я жил с ощущением внутренней высокой планки. Как и мой отец, такой внутренний критерий поддерживал и Алексей Иванович. Мне полагалось сочетать научный анализ с соблюдением рамок и границ, не провоцировать уколы и удары. А.И. соблюдал требования того времени, однако без стремления демонстрировать идеологическое усердие. Он стремился организовать исследования, в которых важно было содержание, а не идеологические оценки. Интеллектуальная требовательность, взыскательность были свойственны ему повседневно: понятие, употреблённое непродуманно, не к месту, вызывало у него возмущение. В его суждениях прослеживался внутренний ориентир чести, который связывал его с традицией русской интеллигенции, проявлялся и за пределами исследований. Например, он не придерживался антисемитской линии, которую иногда искренне, а чаще из осторожности проводили многие руководители. Такие проявления человеческой ограниченности, как национализм, шовинизм, были ему органически чужды. Это было ещё одно измерение — *измерение чести*.

О рамках и правилах игры он не забывал, и нередко напоминал мне, — и не только по поводу взвешенности текстов. Помню, об одном сотруднике института он сказал мимоходом: «Вы с ним аккуратнее, он человек Органов...» Не раз по различным, текстовым или человеческим, поводам

говорил мне: «Миша, здесь вам нужно быть осторожнее...» Здесь проявлялось ещё одно измерение А.И., — его *прагматизм*.

А.И. никому не говорил «ты», никогда не употреблял мата. Впрочем, и без крепких словечек он мог произвести и производил сокрушительный эффект. В раздражении он не кричал, а начинал говорить особенно резко и отчётливо, — вы-го-ва-ри-вал. В аспирантские годы я провел немало времени в его приёмной, ожидая, пока он освободится; помню, как мне приходилось отводить глаза, чтобы не утыкаться взглядом в лицо плачущей сотрудницы, выходявшей после директорского разноса. Ему всегда было по-фамусовски интересно в подробностях знать, кто что о ком сказал, — кто, с кем или против кого... Впрочем, человеческий интерес у него вызывали немногие, это нужно было заслужить; он нередко говорил о ком-либо: «а вот он мне совсем неинтересен...». Он любил власть, был человеком власти и человеком властным... Это было *измерение властности*.

В домашней обстановке А.И. смягчался. И всё же помню, что с некоторого времени, кажется, в середине 80-х, на журнальном столике в новой тогда, и в последней теперь квартире А.И. на Ленинском проспекте появилась машинописная записка, подписанная Лидией Ефремовной. Это был сдержанный и ироничный текст, суть его сводилась к тому, что при любых спорах, которые могут возникнуть между Лидией Ефремовной и Алексеем Ивановичем всегда прав он, Алексей Иванович, а не она, Лидия Ефремовна (в записке он так и был обозначен не домашним именем Аля или Алечка, а по имени и отчеству; так же чеканно, по имени и отчеству была поименована и она)...

А.И. многих вывел «в люди», многим помог. В его доме приход гостей или посетителей был привычным и частым. Каждый наш разговор у него дома прерывался звонками по телефону и в дверь, приходили и приезжали из других городов его ученики — бывшие, текущие или будущие. И сейчас каждый год в дни его рождения и смерти в квартире становится тесно. И всё же он знал, что его резкость делает своё: немало людей относились к нему с опаской или с затаённой обидой, хотя уважали все. Его это терзало. Однажды в застолье он стал говорить, что его мало любят... И тогда он сказал: «Хочу, чтобы на моей могиле написали: *Он был хороший...*» Это было особое *измерение ранимости*, о котором немногие могли бы даже догадаться.

Сейчас, когда я думаю об Алексее Ивановиче, в памяти всплывают ракурсы и грани его многомерной личности. Для меня центр воспоминаний — чувство благодарности к нему, к школе, которую я смог пройти благодаря ему. Фрагменты воспоминаний складываются в объёмный облик. Сквозь время я по-новому вижу измерения этого незаурядного человека. К разным людям он поворачивался разными гранями, и есть грань, на которой должны быть написаны эти слова, — пусть они будут написаны здесь.

Он был хороший.